

1877

2. («Я РОДИЛСЯ В 1821 г. ...»)

Я родился в 1821 г. 22 ноября в Подольской губернии в Винницком уезде в каком-то жидовском местечке, где отец мой стоял тогда со своим полком. Большую часть своей службы отец состоял в адъютантских должностях при каком-нибудь генерале. Во время службы находился в разъездах. При рассказах, бывало, то и дело слышишь: «Я был тогда в Киеве на контрактах, в Одессе, в Варшаве». Бывая особенно часто в Варшаве, он влюбился в дочь Закревского, о согласии родителей, игравших там видную роль, нечего было и думать. Армейский офицер, едва грамотный, и дочь богача — красавица, образованная (о ней речь впереди); отец увез ее прямо с бала, обвенчался по дороге в свой полк, и судьба его была решена. Он подал в отставку, дослужившись до капитанского чина, вышел в отставку майором и поселился в родовом своем имении Ярославской губернии в сельце Грешневе, куда привез, конечно, и молодую жену и нас, двух сыновей своих — Андрея и Николая. Последнему — мне — было тогда три года. Я помню, как экипаж остановился, как взяли меня на руки (кто(-то) светил, идя впереди) и внесли в комнату, в которой был наполовину разобран пол и виднелись земля и поперечины. В следующей комнате я увидел двух старушек, сидевших перед нагоревшей свечой друг против друга за небольшим столом; они вязали чулки, и обе были в очках. Впоследствии я спрашивал у нашей матери, действительно ли было что-нибудь подобное при первом вступлении нашем в наследственный отцовский приют. Она удостоверила, что все было точь-в-точь так, и немало подивилась моей памяти. Я сказал ей, что помню еще что-то про пастуха и медные деньги. «И это было дорогой, — сказала она, — дорогой, на одной станции я держала тебя на руках и говорила с маленьким пастухом, которому дала несколько грошей. Не помнишь ли еще, что было в руках у пастуха?» Я не помнил. «В руке у пастуха был кнут» — слово, которое я услышал тогда в первый раз. Хорошая память всю жизнь составляла одно из главных моих качеств.

Старушки были — бабушка и тетка моего отца.

Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге, называемой Сибиркой: барский дом выходит на самую дорогу, и всё, что по ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства. Во всем остальном грешневская усадьба ничем не отличалась от обыкновенного типа тогдашних помещичьих усадеб; местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею перед бесконечным дремучим лесом — пастбища, луга, нивы. Невдалеке река Волга. В самой усадьбе более всего замечательного — старый обширный сад, остатки которого сохранились доньше; ничего остального нет и следа. Где стоял обширный дом, недавно сгоревший, там в третьем году мимоездом увидел я скромное здание с надписью: «Распивочно и на вынос».

И ничего больше!

Самый дом, последние 20 лет стоявший в развалинах,

пуст и глух:

Ни женщин, ни псарей, ни конюхов, ни слуг...

недавно сгорел, говорят, в ясную погоду при тихом ветре, так что липы, посаженные моей матерью в 6-ти шагах от балкона, только закоптились среди белого дня. «Ведро воды не было вылито», — сказала мне одна баба! «Воля божия», — сказал на вопрос мой кр(естьянин) не без добродушной усмешки.

Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднен: почтовая гоньба идет теперь по другому, высокому берегу Волги трактом, к которому в старину прибегали только весной по случаю бездорожья.

Куда как глухо там теперь стало, не верится, что в 20-ти верстах губернский город Ярославль и в 40-ка — Кострома.

Зато грешневцы теперь сравнительно процветают, пользуясь даже яблоками покинутого сада, которых обыкновенно в начале августа уже нет и следа. Кушайте их на здоровье, беловолосые ребятишки, бегайте в нем сколько душе угодно и, когда вырастете, поставьте в нем школу, а то теперешняя при сельском приходе слишком далека.

Обширное сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами с надписью: «столько-то душ, принадлежащих гг. Некрасовым», составляло только ничтожную часть родовых наших поместий, находившихся кроме Ярославской еще в Рязанской, Орловской и Симбирской губернии. В одно время, довольно отдаленное, все имение представляло в целом более десяти тысяч душ, из них прадед мой (воевода) проиграл в карты семь, дед мой, штык-юнкер в отставке, — с лишком три. Отцу моему проигрывать было нечего, а в карточки играть он-таки любил. К выходу его в отставку, по случаю раздела имения с братьями, на всех семерых братьев и двух сестер оставалось четыреста душ, так что им досталось душ по сорока, и еще меньше пришлось бы, если бы уцелели в живых старшие братья, но трое убиты под Бородиным в один день. Наследство моего (отца) не ограничилось сорока душами; по жребию на часть его досталось крестьянское семейство, которое владело временно само тысячью душ, наследованными от сестры, бывшей за дворянином Чирковым; разумеется, они должны были продать его в шестимесячный срок.

Эта история очень интересна, но я не имею времени ее рассказать, упоминаю о ней потому, что она имела большое влияние на судьбу нашего семейства, а может быть, и на мою. Крестьяне продали свое наследство незаконным образом еще до раздела имения, и отец мой решился дело поднять; вся жизнь его посвящена была этому процессу. Когда хлопоты увенчались успехом, он был уже сед, но получил тысячу расстроженных до иступления временными владельцами душ. Думаю, что если б он посвятил свою энергию хотя бы той же военной службе, которую начал довольно счастливо, товарищи его, между прочим, были Киселев и Лидере, о чем он не без гордости часто упоминал... Однажды перед нашей усадьбой остановился великолепный дормез. Прочитав на столбе фамилию Некрасов, Киселев забежал к нам на минутку, уже будучи министром, а с Лидерсом в поручичьем чине отец мой жил на одной квартире; он крестил одного из нас (брата) Константина). Это были любимые воспоминания нашего отца до последних его дней.

Он сошел в могилу 74-х лет, не выдержав освобождения, захворав через несколько дней после подписания Уставной грамоты.